



ничный холерик — астроном Кронид Любарский, худющий, все ребра наружу, но боевой, как огонь. Кронид влетел в камеру и сходу начал знакомиться. Рассказал смешную историю, связанную с арестом своего однофамильца. Есть Кронид Любарский, русский ученый-демократ из Москвы, и есть Лазарь Любарский, инженер из Ростова, еврей-сионист. Между собой они не знакомы. Лазаря арестовали раньше. И вот в один прекрасный вечер сидит себе Кронид в своей квартире, слушает Би-Би-Си, и вдруг раздается следующее сообщение, от которого у него глаза на лоб полезли: «Астроном Любарский арестован за сионизм». Такая вышла путаница.

Кронид был первым известным мне русским зеком, открыто и принципиально отстаивающим не только право народов на отделение, но и жизненную необходимость этого отделения для самой России. Он совершенно четко осознал, что империя и демократия несовместимы. Будучи убежденным демократом, он отверг империю...

И действительно, это был бы выход. Кто из националистов отвергает право русских на жизнь или государственность? Никто. Борьба идет не против русских самих по себе, а против русского империализма...

Увы, я не оптимист. Я опасаюсь, что устоявшиеся имперские структуры (от психологических до экономических) поглотят новорожденную демократию, как в 1917 году, и на поверхность снова выплынет какая-нибудь имперская махровщина. Смена флага — это еще не смена структуры...

«Moria», Izrael, 1984.

Олег СЕНИН:

«Это были мои лучшие годы...»

С Олегом Михайловичем Сениным беседуют Юлия СЕРЕДА и Андрей БЛИНУШОВ

— Нам было хотелось, чтобы Вы хронологически рассказали о «деле Вудки». Пожалуйста, начните с Щацка, с Вашей семьи. Говоря банально, как Вы дошли до «жизни такой», видимо, истоки этого пути в детстве, воспитании, окружении...

— Ну что ж... Мама моя — вологодская. Она очень светлая, довольно рослая, а отец и все его предки — рязанские. Из того самого места, которое теперь называется городом Щацком (он был основан при Иоанне Грозном как одна из казачьих застав в диком поле). Все мои предки жили в Казачьей слободе. Кме Казачьей слободы там были еще Ямская и другие. Перекрестное влияние Севера и Центра Руси я так или иначе всю жизнь чувствую и в своей индивидуальности и в своих наклонностях. А родился я в 47 году. Отец в то время жил в 18 километрах от Щацка, в таком удивительно живописном местечке, которое теперь называется Лесная Поляна. Тогда это было всего лишь отделение совхоза «Щацкий». Полукольцо лиственных лесов... Правда, нет речек, но зато повсюду чистейшие пруды, в которых водилась рыба... Повсюду огромные дубы, а чуть дальше от дома — просторные, светлые рощи... Удивительные трепетные осинники, по осени раскрашенные всеми возможными акварельными цветами...

Дедушка мой, Павел Федорович, был пасечником. Отец прошел его школу, работал на пасеке. Но по своей крестьянской сметливости, довольно недюженному природному дарованию он очень быстро выдвинулся, стал председателем рабочего комитета в совхозе, потом его сделали управляющим, и, в конце концов, за несколько лет до моего ареста он работал директором совхоза, хотя имел он всего лишь 8 классов образования.

Отцу я за многое благодарен. Это человек какой-то удивитель-

ной правдивости. Чувство справедливости было присуще ему от рождения. Надо сказать, что оно не переходило у него революционный фанатизм, когда справедливости ради одних надо было вешать, а других — одарять имуществом повешенных. У него эта справедливость была по-христиански мудрой, хотя сам он в Бога не верил. Но ведь это и не обязательно — веровать... Вера и Бог пробиваются к нам всячими путями.

Чувство правды, пожалуй, передалось мне от отца. Тем более, что на моих глазах происходила эволюция с моими дедушкой и бабушкой. Кажется, это был последний год жизни Сталина, 53-й, или сразу после того. Дедушка с бабушкой жили тогда в лесу недалеко от пасеки, где и проходило детство мое. Дедушку стали выселять из этого домика без всякого правомерного обоснования. Тогда отец мой (а он к тому времени был коммунистом), причем для него этот коммунизм был своего рода исповеданием, дал бой за дедушку. Он адресовал телеграммы аж генеральному прокурору — в инстанции, которые из нашей деревеньки казались вообще недостижаемыми. И, к чести отца, он выиграл это дело.

Из-за своей незаурядности, своего правдолюбия, отец вечно был изгоем, нес крест страдальца. Разва два с ним поступали совершенно несправедливо. Раз даже уволили. Он тогда обратился в газету «Сельская жизнь». Представьте, в те времена это была очень важная инстанция — газета союзного значения. Приехал журналист, разобрался во всех обстоятельствах, увидел, что отца уволили совершенно необоснованно, была статья в газете и его восстановили. Так что, отец был личностью известной даже на уровне областного начальства.

Он и ныне здравствует, дай Бог ему здоровья. Я всегда вспоминаю о нем с благодарностью.

Когда я был арестован, и после нескольких часов, проведенных наедине со следователем, отказывался давать показания и отрицал всякую причастность к делу (а я был арестован третьим в

Рязани, передо мной арестовали Вудку и Фролова), я был вызван наверх. Там сидел полковник Маркелов, начальник УКГБ по Рязанской области и человек 6 сотрудников. Маркелов, желая расположить меня к себе, раза два или три упоминал о моем отце, весьма симпатично о нем отзываясь, и даже сказал, что он хорошо отца знает, и призывал меня подумать, каково будет отцу узнать о том, что сын его оказался в политических отцепенцах. После моего ареста отца уволили с работы (он тогда работал то ли управляющим, то ли директором совхоза). А гонения на него начались раньше. Когда я в Саратове «засветился» с рукописью, к нему приезжал из Рязани следователь госбезопасности, беседовал с ним, и затем отца потихонечку начали затаивать. А после моего ареста вообще лишили возможности работать в совхозе. Тогда родители вернулись в нашу деревеньку, в наш домик, где они и поныне живут, и пошел отец работать сторожем в МТМ.

Как-то я к приехал к отцу уже после освобождения, и он говорит мне очень печально: «Знаешь, — говорит, — вышел я первый день на работу, у стены солома лежит, и в этой соломе мне суждено ночь проводить, время от времени вставая и поглядывая.» А перед этим произошел несчастный случай — в машине сгорел наш сосед. И обгоревшая машина стояла неподалеку — этакий зловещий остов. Так вот, он говорит мне: «Представь, каково мне было в этой соломе, в этой ночной жутти, рядом с этой машиной расхлебывать то, что с тобой произошло...»

— А если говорить в целом: атмосфера 60-х годов, литература, разговоры... Вы приехали в Рязань учиться в техникум после восьми летки. Как вы ощущали эту атмосферу?

— У меня был совершенно индивидуальный путь, и тогда, насколько я теперь понимаю, общественная атмосфера прямого влияния не оказывала. С чем это связано? После 8-го класса я поступил сначала в строительный техникум в Моршанске и проучился там 2 года. А уже в Рязани началась моя «костоломка». Оказавшись без родителей, я жил в общежитии, познакомился с местной шпаной. Это были дерзкие мальчишки, они держали верх, и дружба с ними, приобщенность к такой компании мне очень льстила (а мальчик я был видный). И вот, эта жизнь, это хождение по танцплощадкам, где мы время от времени кvasили носы друг другу, однажды кончилась очень пло-

хо. Как-то такой вот компанией мы отметелили одного парня из нашего же техникума (он был боксер). И извиняло меня только то, что сначала этот боксер вместе со своим другом-штангистом, здорово отбуксал меня на танцплощадке. А после того, как мои дружки подоспели, началась наша расправа над этими спортсменами. Суд творился непреложный и скорый. Я-то отдался синяками, а у него, бедного, была даже проломлена голова. Возбудили уголовное дело. Но мне всю жизнь везло, и особенно удивительно везло на людей. Каким-то образом Бог вел меня... В нашем же общежитии жил следователь прокуратуры Анатолий Васильевич Ананских. Молодой человек лет 28, очень интересный и внешне, и по содержанию, много читал... Мы с ним дружили, видимо, он что-то во мне распознал. И когда уголовное дело было возбуждено, он это дело прекратил. После этого он мне посоветовал уезжать из Моршанска. Я переехал в Рязань, началась совершенно иная жизнь для меня. То что во мне как-то жило, вся энергия, молодые недюженные силы, которые до сих пор прорывались в криминально-бунтарское русло, теперь пошли в направлении нравственного совершенствования, жизненных целиевых установок. Помню, именно тогда совершенно сознательно я решил заниматься проблемой преступности среди несовершеннолетних и делал это (сейчас сам поражаюсь!) для своих неполных семнадцати лет очень последовательно. Я точно знал, что мне нужно овладеть даром слова, и стал выступать перед своими однокашниками с разного рода докладами, причем с необычными для строительного техникума темами: о Пушкине, о декабристах, о Нюренбергском процессе, о художниках-передвижниках. Меня все это тогда ужасно интересовало! Я записался в несколько библиотек, ходил в ту знаменитую рязанскую Горьковку, где познакомился со многими и со всякими. И все, что проходило через меня, я пытался передавать своим однокурсникам, тем более, что две учительницы, по обществоведению и по литературе, Роза Александровна и Галина Алексеевна ко мне очень благоволили, считали меня мальчиком не от мира строительного техникума. Они мне прочили другую перспективу, так оно и сбылось. Я научился держаться перед аудиторией, и потом, уже в Саратове, где я занимался в студии художественного чтения, это мне сослужило добрую службу. У ме-

ня тогда была твердая установка, что в будущем я буду выступать перед большими аудиториями, к тому же, мой благодетель Анатолий Васильевич Ананских тоже этим занимался — пример был перед глазами, живой и яркий. Второе, что я понимал: я должен научиться писать. Я мыслил себя как публициста. К тому времени я прочел книгу Георгия Медынского «Трудная книга». Она была посвящена проблеме подростковой преступности. Я тогда решил, что писать — это и мне предстоит. Я пошел в «Рязанский Комсомолец», там меня встретила очень милая женщина, может быть, из молодежного отдела, и я стал приносить ей статьи. Это была весна 1965 года. А материалы я брал вот откуда. Я пошел в прокуратуру Октябрьского района (представьте, все это в 17 лет!), познакомился со следователем Китаевым, он сделал меня «следователем на общественных началах», выписал мне удостоверение, давал кое-какие поручения. Я имел доступ к уголовным делам, читал их, сам немножко принимал участие в допросах. Потом я познакомился с Шевелевым из Советской районной прокуратуры, с некоторыми другими. Так я стал писать на криминальные темы, статьи были с размышлениями, с попыткой анализа.

В то время мое мировоззрение определялось потребностью приносить некую пользу, я исповедовал возвышенно-альtruистические взгляды. Тогда и случилось мое знакомство с Юрием Вудкой.

Встреча эта была, что называется, неслучайной. В то время я ощущал в себе воистину юношескую жизнеладность и какую-то необузданную потребность в знаниях. За что я только тогда ни брался! И за философию, и за психологию, и за юриспруденцию...

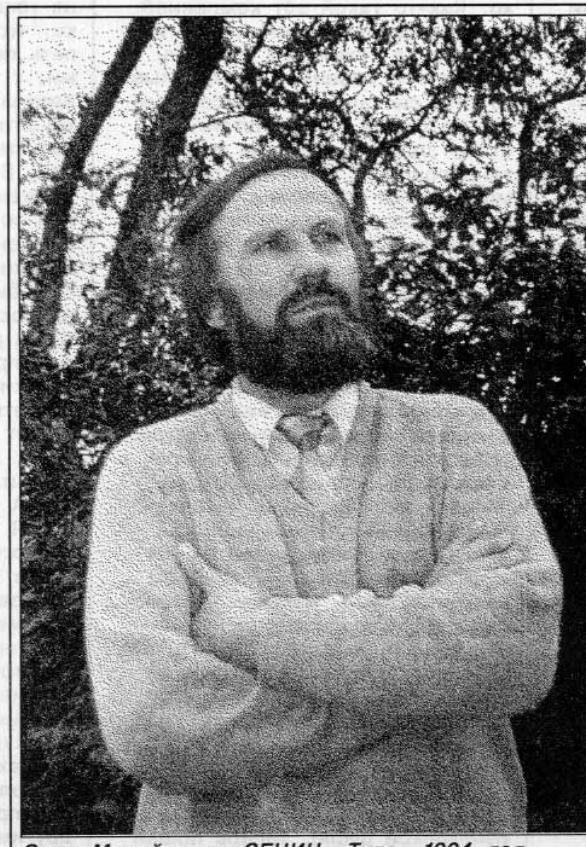
Помню, взялся было я в философии за за «Феноменологию духа» Канта, но не осилив ее, хотя и испытав некое сладостное упоение от вхождения в эту совершенно непостижную терминологию, я принялся за герценовские «Письма об изучении природы». Вот там я уже начал кое-что понимать, но главное, что меня увлек его удивительный язык, и после этого я настолько влюбил Герцена, что когда еще имел глаза, я чуть ли не каждый год, до самого последнего времени, перечитывал его «Былое и думы». Вот такое было упоение.

Поэтому, я и говорю, что встреча с Вудкой была не случай-

ной. А история была такая. Тут получилась любовная интрига. На строительной практике в районном центре Чучково, на танцплощадке я познакомился с одной девочкой. Она в тот же год поступила в рязанский пединститут на факультет истории. Мне она и тогда на танцплощадке не понравилась, и потом, когда мы встретились в Рязани, не нравилась, но, видимо, нравился я ей. И она, невольно, по-девченочи, делала круги. Я тогда уже, после третьего курса, бросил техникум и стал систематически готовиться к поступлению в Ленинградский университет. К тому времени, одновременно с учебой в техникуме, закончил 3 класса вечерней школы и имел диплом о среднем образовании. Готовясь к университету, я постоянно бывал в пединституте, слушал лекции по литературе, по истории, но держался особняком. И были только несколько человек, в том числе та девушка, с которыми я общался. Мне даже нравилась моя такая загадочность, тем более, что в то время я писал дневники психологических наблюдений. Когда потом я показал один из этих дневников Вудке, он изумился, сказал, что у меня совершенно необычный стиль и было бы хорошо этим заниматься и потом опубликовать.

Так вот, эта девочка однажды мне сказала: «Я хочу тебя познакомить с людьми, которые будут тебе очень интересны.» Решено было встретиться с этими людьми в библиотеке. Это было осенью 65-го года. Это совершенно точно: осень 65-го года. Между дверями библиотеки есть такой небольшой вестибюль, там я и ждал их. И когда я увидел двух таких небольших молодых людей — Вудка, а с ним Гоша (забыл его фамилию, он потом за легкомыслие свое был отлучен от движения). В отличие от Вудки он больше интересовался девушками, водился со шпаной. Он-то и познакомился с этой девочкой. В наше время юноши старались вешать девочкам не просто «лапшу», а интересную, революционную и даже антисоветскую «лапшу». Тем он ее и очаровал. А она поведала о сем мне.

Я, увидев их, вышел навстречу. Оба они были с тубусами под мышками, оба в таких коро-



Олег Михайлович СЕНИН. Тула, 1994 год.

ФОТОАРХИВ «КАРТЫ»

теньких, модных по тем временным, осенних пальтишках. Оба сами коротенькие, очень небольшого роста, и у обоих на головах были папахи «пирожок». Не «москвичка» даже, а «пирожок». Мы познакомились, поговорили и решили встретиться. Так состоялась эта «историческая» встреча.

У меня не было тогда ясной продуманной концепции, программы, да и откуда ей было взяться по тем моим годам! Я даже удивлялся, как это Вудка, в своем возрасте, мог выносить и сформулировать все это.

— А вообще, что это был за человек?

— Какое у меня ощущение этого человека... Если говорить честно, из рязанской группы я более-менее хорошо знал его, Валерия Вудку и Олега Фролова. С Грилюсом мы почти не были знакомы, с остальными я тоже только виделся.

Даже если сравнить Юрия и Валерия Вудок, это очень разные люди. Валера — мягкий человек, с ним хорошо быть вместе, он не давит, деликатный и очень умный парень. Да, совсем мальчик, даже обличием своим он был такой тоненький, совсем юный. А Юрий — в нем меньше было такой благодатной притягательности,

он был носителем идеи и в нем был какой-то демонизм, он все-непременно желал подчинить человека своим взглядам, своему влиянию, ввести его в работу и сделать сопричастником идеи. Безусловно, в нем было лидерское начало. Но лидерство может по-разному проявляться. Я бы не называл Вудку, как я сейчас его понимаю, яркой личностью. Однако, он, например, поражал меня какой-то основательностью.

Взрослость виделась во всем: в его мышлении, в знаниях. Он легко писал. Это, безусловно, влияние его еврейской одаренности, потому что Божье благословение на этих людях сохраняется и поныне.

У нас с ним не было, к сожалению, близких дружеских отношений, хотя он меня привлекал. В нем было то, чего во мне не было: какая-то идеальная завершенность. Но что-то в нем и отталкивало. Вот, например, другой человек из нашего движения — Олег Фролов — это удивительно близкий мне человек. Я очень полюбил его, особенно за время пребывания в 17-й зоне, где мы вместе сидели. Мы были большими друзьями, его образ я носил в своей душе и поныне. Этот человек оказал на меня нравственно благословенное влияние своей удивительной душевной чистотой. Он поражал бескорыстием даже тогда, хотя по тем временам бескорыстие было нередким явлением. Я постоянно его вспоминаю и в молитвах, и душевно, чего не могу сказать о Вудке.

Валера тоже остался в моей памяти очень душевно. А Юрий — противоречиво. И когда я 3 года назад в Саратове прочел «Московщину», у меня очень испортилось настроение. По натуре я идеалист, лирическая сторона восприятия преобладает в моей памяти, в моем видении. Мне настолько дорогое мое прошлое, что я ни о ком из людей, окружавших меня тогда, не хотел бы говорить плохо, даже если бы и были для того причины. Эти причины я как-бы сам от себя скрываю, потому что дорога именно память о том времени, которое было для меня судьбоносным. И о Юре-то, вы видите, я не сказал ничего плохого, но те страницы «Московщины», которые мне прочитали (сам я уже не могу читать), меня очень расстроили,

что-то во мне сломали. Я никогда не стал бы писать о том времени так: умалчивая одно и преувеличивая другое.

Юрий — очень умный, просто поразительно умный, но в «Московщине» его куда-то перегнуло. Ну, да Бог ему судья!

В общем-то он оказал огромное влияние на меня. Я до какого-то времени постоянно чувствовал его приоритет, отдавал ему должное. Я не был идеальным локомотивом, просто у меня были хорошие организаторские способности, они и проявились тогда. Хотя меня тоже сносило в некий демонизм нигилистического толка.

— Движение оформлялось не в процессе дискуссий между вами, Вудка имел уже готовую стройную систему взглядов, и пытался привлечь людей под эту систему, верно?

— Конечно, Вудка не мог быть источником откровений, потому что только Господь Бог дает откровение, да и то, оно постепенно открывается на протяжении всей священной истории. И Вудка в этом смысле, как и все мы, рос. А с какого-то времени это стало нашим общим делом. Все люди, которые участвовали в движении, были со светлыми головами. Мы все хорошо учились, например, моим родителям институт все время слал благодарности за то, что я такой хороший. Все наши ребята постоянно читали, выкалывали какие-то статьи, предлагали новые взгляды. Да, это был совокупный процесс. Хотя, Вудка по своей природе был теоретиком, этого у него не отнять. И он был нашим теоретическим локомотивом. Конечно, его взгляды тоже претерпевали изменения, та же «Московщина» об этом свидетельствует. Впрочем, как и взгляды каждого из нас.

Он к тому времени усвоил (не знаю откуда, надо спросить у него) то, что тогда не было распространенным. Все знали, что этот строй имеет великие недостатки, что свершается страшная демагогическая ложь, когда на фасаде рисуют одно, а за фасадом происходит совершенно противоположное. Но что чтобы об этом так смело сказать (не забывайте, устами 18-летнего мальчика!) в тогдашней нашей действительности — это, конечно, было редкостью, и в этом была его большая заслуга. Хотя идея о том, что в нашей стране существует госкапитализм, не нова, она существовала еще с троцкистских времен, времен дискуссии в Третьем Интернационале. Просто Вудка имел к этому интерес, дотошность и минимум литературы.

Кое-что из такой литературы можно было достать даже в тогдашних условиях. Например, «Критика антисоветских теорий». Оппортунистические теории разбивались в пух и прах, но, так или иначе, можно было из щепок составить представление об этих теориях.

— Олег Михайлович, а Вы тогда читали самиздат?

— Самиздата у нас практически не было. Вудка, и мы все, опирались на марксистскую литературу. Это, пожалуй, и было одной из особенностей нашего движения: мы все «высасывали» из легального марксизма-ленинизма. Мы штудировали те самые труды, до которых никому дела не было, разве что студенты конспектировали их без всякой попытки понимать содержимое. А мы же все это переживали как некую действительность. Что до самиздата, у нас были: письмо Федора Раскольникова к Сталину, письмо Солженицына к съезду писателей, да кое-что из Евтушенко, то есть, сущая невинность, которая тогда имела хождение во всех интеллигентских кругах. Но мы издавались сами. Мы писали работы и начинали потихонечку их издавать. Тон задал Вудка. Первой работой был его «Закат капитала» и последующие небольшие статьи по разным проблемам. Кроме Вудки писали еще один мальчик, по имени Гера, и я. Когда я перевелся на заочное отделение, то летом 68-го года, живя в деревне у отца, написал сборник статей под названием «Марксизм и действительность». Он, к сожалению, не был перепечатан и размножен, на него была только аннотация Михайлова (интересный человек из Саратова). Статьи из этого сборника говорят о том, что диапазон мышления, который задал Вудка, был присущ всем нам в той или иной мере. Сборник состоял из таких работ: «Армия и самодействующие вооруженные организации народа», «Об автономизации промышленного производства и децентрализации управления промышленностью», «Теория и практика сталинского террора». Здесь я обобщал сталинское законодательство и показывал, как был приспособлен правовой аппарат для массовой рубки голов. Следующая работа называлась «Механизм лжи». В ней я пытался анализировать работу пропагандистского аппарата, то есть как официальные идеологические клише воздействовали на сознание и подсознание людей, и проводил разрез между содержанием пропагандистской машины и откликом. Ну, и так далее.

— Где сейчас эти работы?

— Они находятся в Управлении госбезопасности Саратовской области.

— Вы не пытались их вернуть?

— Да зачем они мне нужны! Мне сейчас это интересно только как опыт прошедших лет.

После нашего знакомства с Вудкой мы одно время держались во взаимном неприятии взглядов друг друга. Я долгое время не мог принять его мнения, и, стоя на своих либерально-критических позициях, создал кружок в рязанском пединституте. Мы собирались в общежитии на улице Полонского. Туда входили очень интересные люди. Был один мальчик с факультета истории на английском, не помню сейчас его имени, еще был Женя Владимиров, его сосед по комнате с факультета химии и биологии, Людмила Боброва... Так или иначе, люди были интересные, но мало кто из них «проквасился» всем этим и осознал серьезность движения. Фактически, из этой группы только моя немощь проследовала к эшафоту, то есть к Дубровлагу.

— Олег Михайлович, а вы знали Анну Климу? Она тогда была редактором пединститутской многотиражки.

— Да, я слышал про эту даму, но не помню, чтобы я с ней встречался. Это было, по-моему, Вудкино приобретение.

— Да, Вудкино. Он давал ей свои работы как бы на оценку, она их ругала за незрелость, говорила что-то вроде «не суйтесь, мальчики, в столь серьезные дела», а потом, как будто, взялась перепечатывать Вудкины работы, за что и попала под пресс КГБ. Ее дело даже было выделено в отдельное производство в Москве.

— Та атмосфера, которая создавалась вокруг наших авантюрных кружков, делала свое дело. Тот же Женя Владимиров, начиненный нашими идеями, и другие, не сделали эти идеи делом жизни, но они стали их носителями. Ну, а по юношеской браваде могли трепаться в студенческой среде, и находились люди, которые тоже мыслили в похожем направлении. Так возникали контакты, о которых мы не знали.

Я хочу сказать о человеке, которого я знаю, и который, так или иначе, фигурировал в нашем деле. Это Апполон Григорьевич Кузьмин. Ныне он один из лидеров «Отечества», довольно известный теперь человек. Это личность иного порядка. Когда нас арестовали, следователи уже знали о том, что Вудка, я, моя первая жена Маргарита, и Людмила

Боброва, которая тоже была участницей нашего кружка, имели контакты с Кузьминым. Апполон Григорьевич по своим взглядам был социал-демократ. Это умный человек с типичным интеллектом ученого, доктор наук. Он занимался источниковедением, у него много хороших работ, посвященных «Слову о полку Игореве».

Я с ним был знаком через Маргариту и Людмилу. Очень хорошо помню, что когда на первом курсе, на Октябрьские праздники, я приехал в Рязань, мы где-то оказались вместе, кажется в общежитии. Было хорошее полуночное застолье, я и Вудка пикнировались с Кузьминым. Он относился к нам снисходительно, но, видимо, чувствовал за нами не только напористость, но и какую-то конструкцию, может быть, несколько примитивную, но достаточно цельную. А сам Кузьмин не имел в то время цельности взглядов, хотя и был очень умным человеком.

Когда КГБшники нас арестовали, они, естественно, узнали все, что только можно, о Кузьмине. Они меня спрашивали: нет ли за вашей спиной какого-то человека старше вас, более умудренного, более образованного, который бы мог сформулировать ваши взгляды? Для них тоже было удивительно, что мы, такие юнцы, оказались способными на разработку какой-то теории, на такое серьезное, хорошо продуманное, законспирированное дело. Поскольку такого человека не было, эти вопросы отпали, но Апполон Григорьевич попал в створ видения КГБ.

— В уголовном деле говорится, что Вудка пытался показать свои работы Солженицыну.

— Я хорошо помню этот момент. Это было в 68-м году. Меня тоже пригласили принять участие в том визите к Солженицыну, потому что к тому времени у

меня сложилась репутация «литературного» мальчика, я и в самом деле очень много читал, следил за журналами. Но я по каким-то причинам не смог пойти. Потом мне рассказывали об этом. Я хорошо помню, что Солженицын тогда сказал, что он сам в прошлом придерживался марксистских взглядов, но сейчас он сам назвал бы свои взгляды то ли неохристианскими, то ли христианскими, как мне говорил Вудка, и поэтому наш идеологический ракурс ему чужд, он его отверг. Но он дал телефон Льва Копелева, дал единственно потому, что тот также стоял на социал-демократических позициях, которыми были начинены визитеры.

— А что за история была у Вас в Саратове с рукописью?

— История такова. В октябре 67-го года я был в Рязани. Вудка передал мне рукопись «Закат капитала». Она была написана в общей тетрадке с зеленой обложкой почерком Вудки. Это был чистовой вариант, только кое-где небольшие вставки. Он меня просил ее перепечатать и размножить. Я взялся. Естественно, по условиям конспирации, я не должен был эту тетрадку никому давать. Но я к тому времени был в угле нашей работы. Организация была уже создана. В 66-м году, сразу, как только поступил в институт, я начал вербовать людей, и, надо сказать, имел успех. Наша группа расширялась, у нас была наработанная методология — работа Ленина «Марксизм и действительность», посредством которой мы доказывали, что существующий у нас строй есть госкапитализм. Есть бюрократия? Есть. Есть армия как средство подавления? Есть. Есть полиция? Есть. Есть суд? Есть. Государство нужно потому, что есть антагонистические классы, ибо государство — орудие по-

давления. Такая вот была примитивная, но довольно действенная логика. В основном в группе были студенты-юристы, потом стали появляться и другие люди — из университета и просто со стороны. И вот я приехал с этой тетрадкой, будучи в ажиотаже, в нервном возбуждении. А перед поездкой я общался с деканом нашего факультета. Этот человек произвел на меня хорошее впечатление тем, что громыхал с трибуны, ругая наши институтские беспорядки, и выступал как ратоборец здоровых и справедливых устоев, чем меня и подкупил. Поэтому я ему вручил тетрадку, уверенный, что она произведет свое действие, и уж совершенно увереный, что она будет мне возвращена. Когда я дня через три пришел за своей тетрадкой, то сразу почувствовал перемену, какую-то уклончивость его ответов, и у меня, что называется, засосало под ложечкой. Я понял: здесь что-то нехорошо. Придя за рукописью в следующий раз, я с присущей мне тогда напористостью, просто-напросто потребовал, чтобы она мне была возвращена, ибо я уже понимал, что тут совершается нечто совершенно бесчестное. Мое доверие было обмануто, я был возмущен. Он сказал, что, к сожалению, эту тетрадку отдал ректору. Я тут же выговорил ему: разве можно было это делать, ведь она была дана ему совершенно доверительно и конфиденциально, и нетрудно предвидеть все последствия и т.д. Он же сказал, что ничего страшного, это, мол, все юношеская блахь и никаких последствий не будет. Такое, мол, случается невпервой, и отправил меня к ректору. Ректор у нас был тогда Демидов, он преподавал историю партии. Он сам по себе человек был не злобивый и администратор не ахти какой, но благодаря своему докторскому званию в области партии и, вероятно, хорошим связям на уровне обкома, стал ректором. Когда я пришел, он порасспрашивал меня о том, о сем, и на мой прямой вопрос о рукописи сказал, что передал ее в госбезопасность. Через день или два меня вызвали в ректорат. Там был небольшого роста плотненький человек в галстучке, он отрекомендовался тем-то и тем-то, и после небольшого разговора в кабинете ректора, он попросил меня пройти с ним в управление госбезопасности, которое было совсем невдалеке, за два квартала. Вот тогда я впервые переступил злосчастный порог этого серого дома. Там меня допрашивали в присутствии

САРАТОВ

13. ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ БОБРОВ, 1946 г.р., студент; июнь; 70, 72; 3 года СР /12; Р.73/.
14. ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ КИРИКОВ, 1942 г.р., студент; авг.; 70, 72; 6 лет СР + 2 года ссылки /12; Р.70/.
15. ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ КУЛИКОВ, 1942 г.р., инженер; июнь; 70, 72; 5 лет СР /12; Р.72/.
16. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ РОМАНОВ, 1949 г.р., студент; июнь; 70, 72; 6 лет СР + 2 года ссылки /12, Р.71/.
17. ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ СЕНИН, 1947 г.р., следователь; авг.; 70, 72; 7 лет СР + 2 года ссылки /12; Р.69/.
18. МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ ФОКЕЕВ, 1947 г.р., студент; июль; 70, 72; 3 года СР /12; Р.74/.

«Хроника Текущих Событий» N 17. 1970 год.

АРХИВ «КАРТЫ»

трех человек. Я к тому времени уже продумал версию, что эта тетрадка мне была дана в поезде неким гражданином из города Калуги или еще какого-то, и что я должен был по такому-то адресу на главпочтамт направить свой отклик об этой работе. Все это исправно было запротоколировано, мне как бы поверили и отпустили с миром. Но я прекрасно понимал, что с этого времени за мной началась систематическая слежка, поэтому, по условиям конспирации, я сразу прервал всякие контакты со своими друзьями. Отказался от руководства организацией, тем более, что обстоятельства заставили меня после Нового года я перейти на заочное отделение. Вернее, сначала я перевелся в МГУ на дневное отделение в начале 68 года. В МГУ на истфаке училась моя жена Маргарита. Перевод мне стоил больших трудов. Ректором был Иван Георгиевич Петровский, замечательный человек. Превестись в МГУ из провинциального вуза (хотя у меня в зачетке были одни пятерки) было чрезвычайно трудно, туда просто не принимали. Но я записался к Петровскому на прием, как к депутату, он выслушал, посмотрел зачетку и... меня перевели. Но вдруг где-то в конце марта выясняется, что нет приказа о моем зачислении. Это отступление от темы, но интересный штрих к тому, в каких ножницах мы, «засвеченые», жили. Меня вызывает декан факультета и говорит: мы не можем вас принять. Я говорю: как же так, ведь есть резолюция ректора о моем зачислении, я, собственно, уже учусь. Но декан сослался на отсутствие мест в общежитии. Так меня и спровадили обратно в Саратов. Когда же я приехал в свой институт, они меня отказались восстанавливать на дневное отделение, хотя я был одним из лучших студентов. Переводитесь, говорят, на заочное. Поскольку это мне подходило, я и перевелся на заочное. А жена продолжала учиться. Она защитила диплом после того, как я был арестован. Меня арестовали в августе, она еще целый год училась, потом ее направили в Караганду. Вот таковы были последствия этой тетрадки.

— Олег Михайлович, расскажите о Вашей саратовской группе.

— Когда я приехал в Саратов — это было в 66-м году — я сразу стал заниматься вербовкой людей. Первым моим приобретением был Виктор Бобров, единственный из саратовской группы, кто сохранил марксистские убеждения, и который ныне в Бешкеке возглавляет какое-то неомарк-

систское движение. Он мне два года подряд присыпал документы этого движения, но мне это было неинтересно. Знаю только, что с ним там были большие злоуполучения, погибла его, сестра, преследовали его самого. Сейчас, к сожалению, у меня с ним нет никакой связи. А в то время мы с ним были очень близки.

Потом я работал с Алексеем Рудченко, это тот человек, с которым встречался Вудка в Саратове. Он был старостой нашей группы. Сам он из Саратовской области, выглядел постарше нас, имел осторожный крестьянский ум, но в то же время человек очень интересный. К сожалению, эта его осторожность потом вылилась в некую трусоватость, и он несколько малодушно вел себя на следствии и на процессе. Он там как-то уж очень каялся. Мы все там выглядели не Раҳметовыми, но он — особенно. Ну, да Бог ему судья.

Еще был один замечательный мальчик, такой небольшой, лобастый, чем-то похожий на Ленина, — Юра Ильин. Он был из Казани. Мы его звали Юрочка.

Затем был такой высокий интеллигентного вида Юрий Ионов. Я ему дал кличку Дан. Он, кстати, тоже на следствии раскаивался в чем только мог, так его, бедного, прижали.

Был еще такой Валерий Клопичев. Очень благородно себя вел. К моменту нашего ареста он, как и я, перевелся на заочный и работал где-то на Дальнем Востоке помощником прокурора. Его потом, естественно, лишили работы, но держался он очень достойно.

Еще у нас был Вячеслав Осин, тоже мое приобретение. Такой солидный парень, юрист. Я прочил его на свое место, и при этом так категорично настаивал, что меня упрекнули в диктаторстве.

Потом мною была приобретена замечательная девушка, которую я очень светло вспоминаю. Это Саша Александрова. Удивительный человек, настолько она серьезно и всей душой восприняла нашу идею, что даже себя готовила к возможным последствиям. Кстати, я тоже, предвидя перепитии, закаливался, плавал. В этом было много позерства, но тем не менее.

— Это серьезно, вы готовились к лагерям?!

— Да, вполне серьезно, мы знали, что рано или поздно это чем-то кончится. Так вот, Сашенька Александрова была нашим курьером, и к ее чести надо сказать, что она удивительно порядочно держалась на допро-

сах. Читая дело, мы видели в пяти или шести протоколах, что она держалась сообразно уставу, а устав предписывал отрицать всякие обвинения и не давать никаких показаний. Она так и делала: ничего не знаю и показания давать не желаю. Вот такая была замечательная девушка.

Еще в нашей группе был Валентин Кириков. Этот вместе с Бобровым сел. Славный человек, он был старше нас, был членом партии. Он закончил какое-то военное училище, но по нездровью комиссован и поступил в юридический. Очень светлая личность наш Валентин Иванович.

Дмитрий Куликов — это не мое приобретение, но я с ним работал. Он тоже прошел по процессу. Сашу Фокеева я не знал, а вот с Александром Романовым работал довольно много. Очень интересный человек.

По делу было «пристегнуто» довольно много и других людей, которые находились в состоянии обработки. Мы держали этих людей в поле зрения, вели с ними разговоры, подсовывали какую-нибудь легальную литературу. А нелегальную литературу мы давали только тем людям, которые, по нашему мнению, созрели для такой работы.

Из тех, о ком я говорил, сел Виктор Бобров, он получил срок 3 года. Отсидел полтора и вышел по помилованию. Сел Валентин Кириков, отсидел из 6 лет, кажется, 3 года. Александр Романов отсидел весь срок. Он единственный из нашей саратовской организации отсидел полностью. Он получил самый большой срок — 7 лет и 2 года ссылки. Вудка получил 7 лет без ссылки, а Романов и Кириков получили по 6 лет. Кириков — с двумя годами ссылки, а Романов без ссылки.

Что касается моего помилования. Когда я пришел в лагерь, то первое время я был одним из заводил всякого рода акций. Меня сажали, лишали, всячески называли. Мы приехали в лагерь в начале мая, а в октябре меня посадили за все мои дела на 4 месяца в барак усиленного режима. Я отказался там работать, меня кормили один раз в сутки. Надо сказать, в нашем лагере было много христиан. Все предыдущие разговоры их со мной о вере вызывали у меня лишь неприятие. А тут, в условиях вынужденного поста, общение с Ивановым и Леонидом Ивановичем Бородиным (ныне он редактор журнала «Москва»), предыдущие разговоры (нас иногда вместе выводили на прогулку), и чтение книг, все это привело к тому, что у меня произошло рели-

гизное озарение и обращение в веру. После выхода из БУРа у меня появился совершенно иной мировоззренческий крен. Вся марксистская наступательность была мной оставлена, я переменился в своих проявлениях, участие мое в лагерных акциях вскоре совершенно прекратилось, я стал общаться с людьми, подобными мне. По натуре своей я очень люблю работать, это качество у меня от мамы. Я много работал, выписывал книги, много читал, а на работе делал две нормы, до половины третьего шил рукавички. И у меня сложилась совсем другая репутация, и плюс ко всему, — другие настроения. Вот тогда мои родители стали меня тормошить. Прошло полсрока, надо писать просьбу о помиловании. Я решил — хорошо, буду писать. И в это самое время, заметив мой крен, подступили КГБшники. Они это всегда делают очень умело, прекрасно зная ситуацию, положение, психологию. В качестве профилактической меры меня, вместе с другими, повезли в Саранск, во внутреннюю тюрьму для разговора. Мы два месяца балдели: после лагеря, где нужно работать, посидеть в камере, почитать книжки, ничего не делая... А они использовали эти вояжи для разных целей. В основном — для вербовки тех, у кого наметился такой, как у меня крен. Других — для обработки в духе большей лояльности, третьих — для переубеждения и так далее.

Я выработал собственную позицию (Бог меня вразумил) и всегда ее держался. Я говорил (и это было правдой), что по натуре я такой человек, что психически не выдержу внутреннего раздвоения, это приведет меня к психическому слому. Поскольку я предпочел бы не попасть в дурдом, а остаться самим собой, то я готов делать все, что угодно: примерно себя вести, не участвовать ни в каких акциях, тем более, что это уже стало моим убеждением. В лагере был самый широкий спектр людей, и люди, которые не участвовали в разных протестах, были не менее уважаемыми, если они просто сохраняли порядочность. Я это прекрасно знал, тем более, что у меня это шло не от каких-либо pragmatischeskix соображений, а от убеждений. И вот, я сказал, что я просто не смогу быть стукачем.

Таким образом, я отбылся от вербовки, уверив чекистов в своей лояльности. Тогда они сказали: вы можете написать анализ ваших взглядов? Я сказал: вот это я могу сделать.

— Зачем им был нужен Ваш анализ?

— Затем, что в случае, если я в будущем дернулся бы куда-то с какой-то акцией, с каким-то выступлением или протестом, они бы в газетах (а на это у них прекрасно была набита рука) так продержнули бы меня! Такой-то в таком-то лагере заверял нас в пересмотре своих взглядов, а тем не менее...

— Что значит «пересматривать взгляды»?

— Я говорил о своей христианской позиции, говорил, что я стал верующим человеком, и марксистские методы борьбы со злом мне не присущи, я их просто не приемлю. Так оно и было. Злом против зла — это не христианская позиция. Вот в таком духе документ я написал, и, наверное, он до сих пор где-то есть. Они были не очень им удовлетворены, как я понял. Они хотели, чтобы я более энергично рванул на себе рубаху, но я сказал: это все, что я могу.

Такого рода подступы продолжались время от времени. Каким образом? Приезжает, скажем, в лагерь КГБшник и вызывает одного, другого, третьего. Причем, вызывает людей самых разных, это все делается продуманно, и невозможно понять, кто стучит, кто не стучит. Так вызывали и меня, и вели разговоры: ну, какая ситуация, а как то, а как се... И вот, зная о такой их тактике, я, когда вознамерился написать помиловку, своим друзьям объявил: чтобы не было никаких разговоров, я ухожу в затвор. А, надо сказать, к тому времени я имел в лагере довольно высокий рейтинг, в силу своих личностных качеств, какой-то присущей мне беззаботности, я уже имел авторитет. И для КГБшников то, что Сенин, такая сильная личность, отошел от протестов, уже было успехом, хотя они к этому «успеху» не имели отношения. Да, они меня сажали в БУР, но изменения в моем поведении произошли в результате моего мировоззренческого перепада, а не этих посадок! Но для них был важен факт, что один из смульянов выбывает из игры, да еще бумагу сам написал. В этом я их уверил. И в том, что хватит с них этого, что я — личность не такого калибра, чтобы заслуживать их расположение еще и стукачеством. Так вот, дабы не было никаких разговоров, я объявил, что ухожу в затвор. Это было вполне возможно. В лагере каждый мог вести себя по-своему, и там были такие варианты поведения, когда человек, живя вместе со всеми,

совершенно ни с кем не общался. И я выбрал такой образ поведения, тем более, что он был мне органично присущ: я тогда очень много молился, много читал. Были один-два человека, с которыми я общался, не более. Всякого рода чаепития, беседы — все это было мной оставлено. И теперь, когда меня вызывал КГБшник и задавал свои «невинные» вопросы: ну, а какая установка в лагере? (А вопрос-то этот на самом деле определял — стучишь ты или нет, с ними ты или не с ними!) Хотя вопрос, повторю, невинный, они, вроде бы и сами все это знают, но для них важно сломать личность, заставить говорить.) Я отвечал: вы же знаете, что я далек от всех лагерных дел, интересов, ничего сказать об этом не могу. Так оно и было.

И хотя все остальное у меня было хорошо, я много работал, все же моя помиловка ходила целиком год по инстанциям. Я не знаю в лагере другого такого случая, чтобы так долго рассматривалось прошение о помиловании. Наконец, в марте месяце приходит моя помиловка. Я хорошо помню этот день, как меня вызвали к отрядному, была теплынь... Отрядный говорит: Сенин, вас помиловали, поздравляю, готовьте вещи, завтра вы освобождитесь. Передайте бумаги на проверку, что вы хотите вынести из зоны и так далее.

Это была ошеломляющая новость и трудно передать мое состояние... В этом было много тяжелого для меня. Конечно, мне бы хотелось отсидеть весь срок и не дергаться. Как я ни старался все это порядочно обставить, я все же клюнул на эту удочку — помиловку — пошел против своей натурь, и это было мучительно. Взять хотя бы те жертвы, на которые я шел ради помилования: сознательно уходил от общения с людьми, которые были мне дороги. Не было внутреннего удовлетворения еще и потому, что постоянно присутствовало сознание, что ты у них на каком-то крючке, и, вызывая тебя, они могут сказать: помилование-то ты подал, чего ж ты еще лягаешься... И в чем-то ты теперь долженходить по половине. Это все очень противно моей душе, очень мучительно. Но, я благодарю Бога за то, что он дал мне разума, и ни о каком сотрудничестве речи не шло, в этом моя совесть чиста. А самое главное: в этом акте о помиловании была формулирована, которой я никогда ни у кого не встречал. В ней была выражена степень их недоверия ко мне и желание перестраховаться. В

справке об освобождении говорилось: помиловать. Неотбытый срок считать условным с тремя последующими годами испытательного срока. То есть, у меня еще оставалось 2 года лагеря и 2 года ссылки. 4 года я находился в правовом положении условно осужденного. В любой момент, при любом нарушении, меня могли опять запереть, и я доживал бы этот срок без учета времени, проведенного на свободе. К тому же, три года испытательного срока, то есть, они меня вознамерились держать в ножницах на протяжении семи лет после освобождения! Такой формулировки я не встречал ни у кого. Я благодарен Богу за это свидетельство того, что я не сделался для настолько лояльным, чтобы меня можно было освободить под чистую.

Сидел я на двух зонах: 17-я большая и 17-я малая, Мордовия, Дубровля.

— А где сидели остальные члены вашей группы?

— Нашу группу разбили по два человека. На 17-й зоне я оказался с Мишой Фокеевым. Я его совершенно не знал. Он был законспирирован, мы его хотели сделать хранителем литературы, но, однако, тем людям, которые его знали, пришлось сказать о нем. На следствии такое бывало. Бедный Миша был настолько сломан этим, что, оказавшись в лагере, сразу встал, как говорят бытовики, на путь исправления, и чекисты нарочно поместили нас с ним вместе, надеясь на его влияние на меня. А когда я приехал на 17-ю большую, то там оказалась Саша Учитель, и мы некоторое время просидели вместе. Он в лагере держался ровной позиции, серьезно занимался наукой, выписывал книги. Но мы общались недолго, серьезной дружбы у нас не получилось. Потом в мою зону перевели Олега Фролова, но через некоторое время его отправили на Урал. Они всегда старались разлучить людей, как только видели, что они сближаются. Но все же вместе с Олегом мы просидели почти целый год.

— Потом вы с ним виделись?

— Нет. Когда я приехал из Караганды и позвонил ему, отец сказал, что теперь он живет в Израиле. И даже сказал мне по телефону (не забывайте, какое это было время!), что Олег очень хорошо отзывался обо мне.

Чтобы не забыть, я хочу вам сказать вот что. Отношения Олега с Таей меня поражали. Чем? Олег не так много об этом говорил, но помимо слов были дела. Тая совершила подвиг. Она ведь каждый день писала ему по пись-

му в лагерь. А письма в лагерь шли не так, как обычно по почте, каждый день, а их приносили, может быть раз в неделю или реже. И когда мы жили с Олегом, я каждый раз поражался изобилию писем от Таи. Олег тоже писал ей. Она просто удивительно держалась как женщина, как любимая, и во многом скрасила его лагерное существование. Он был счастливчиком, не было в зоне человека, который бы получил по стольку писем, как Олег Фролов, и все это делала Тая.

— В Петрозаводске ведь тоже была группа?

— Нет, не было. Там был только Саша Учитель. Он являлся моим приобретением, его вербовка инкриминировалась на следствии мне. Это случилось во время одного из моих наездов в Рязань, в 67-м году. Мы познакомились в Горьковской библиотеке, и потом на втором этаже, где лестница, мы с ним разговаривали на предмет проблем революционного марксизма. А на одной молодежной вечеринке у нас было продолжение этого разговора, и Саша очень быстро поддался, а я, естественно, очень хорошо наступал, и расстались мы, сговорившись, что там, в Петрозаводске, он будет работать в том же самом направлении. И действительно, он неплохо поработал, у него было несколько человек, которые разделяли его взгляды. Многих из этих людей, и из тех, кого я раньше перечислял, спасло вот что: наш процесс попадал на 1970-й год, это был 100-летний юбилей Ленина. И, конечно же, власти и органы госбезопасности сознательно пошли на то, чтобы избежать громкого и многолюдного процесса. Я могу сказать как юрист: многие из этих людей подпадали под состав преступления статей 70 и 72. Однако, они были высшей милостью уволены от осуждения, хотя с ними справились по-своему.

Один из людей, которых обработал Саша, должен был ехать в Чехословакию учиться там в одном из институтов или университетов. Мы решили передать с этим человеком наши программные документы, тем более, что Чехословакия нас очень интересовала. События Пражской весны и августа 68-го года нами активно обсуждались и осмысливались. Сам по себе чешский вариант был одним из знамений верности наших теоретических разработок. Чтобы передать документы, надо было их тщательно законспирировать. Мы пересняли их на пленку, кассету вмонтировали в

кусок мыла. Эту кассету возила в Петрозаводск моя сестра Галина, которая тогда училась в рязанском пединституте на факультете хим-био. Я сейчас не помню, чем закончилась эта история, передал он или нет документы. Скорее всего нет, потому что нас в августе арестовали, а его, наверное, не выпустили за границу.

— А Вильнюс и Клайпеда?

— Об этом я мало что могу сказать, знаю только общую картину. Когда Грилюс закончил институт, его направили работать в Клайпеду, в рыбный центр, он работал там на радио. Он, естественно, занимался там тем же, чем и каждый из нас. Грилюс — человек живой, деятельный, энергичный. По-моему, в Клайпеде тоже был круг людей, находившихся под его влиянием, но подробнее я не знаю.

— Как вы реагировали на ввод войск в Чехословакию?

— Реакция была совершенно однозначной. Мы понимали, что это есть не что иное, как попытка тоталитарного режима противостоять всему тому, что является его противоположностью. Мы считали, что тот вариант социализма, который предложил Дубcek — это очень близко к подлинно марксистской модели, которая мыслилась нами как перспективная модель для России, вернее, для Союза. Конечно, август был для нас временем трагическим. Потом, в декабре 70-го года, уже будучи в зоне, мы с Олегом Фроловым переживали польские события — расстрелы в Гдыне и Гданьске. Когда об этом объявили по радио, я помню, был оттепельный день, снег таял, все раскисло, был вечер, темень, ветер, и мы с Олегом и еще с одним лагерным марксистом Бульбицким с Украины, (такой радетель за мировой пролетариат, по-марксистски ограниченный, он был раза в два старше нас. Мы то были еще школьники, а он — сложившийся тип), второю разом расхаживали за бараком, и, окрыленные тем, что пошло наше дело по Европе, пели какую-то революционную песню типа «Варшавянки». Представьте, что все это было всерьез, мы были в каком-то удивительном органичном единстве со всем тем, что происходило, искренне, истово откликались душой на все эти события.

— Олег Михайлович, тогдашние марксисты были едины или же делились на какие-то различные направления?

— В лагере было два крупных пласта: пласт антисоветчиков, к которым и мы принадлежали и



Рязанский педагогический институт.

ФОТОАРХИВ «КАРТЫ»

пласт осужденных за военные преступления. Эти люди отсиживали свои 25-летние сроки, потому что 15 лет, предусмотренные Уголовным Кодексом 62-го года и Основами уголовного законодательства 58-го года, на них не распространялись, закон не имел обратной силы. Военные преступники было единственным исключением. Эти бедные люди досиживали свои ужасные, еще при Сталине полученные сроки, и мы оказались вместе с ними. Надо сказать, это привносило своеобразный колорит в нашу лагерную жизнь. Во-первых, после многочисленных амнистий, фильтров и чисток, в лагере остались люди, действительно достойные того, чтобы там находиться. Эти люди были интересны как носители исторической памяти, как активные и довольно высоко стоявшие участники тех или иных движений и организаций. И мы, молодые и открытые для всякого исторического знания люди, получали эту информацию из первых рук. Именно в лагере я узнал о пакте Молотова-Риббентропа, о том, как произошло присоединение Прибалтийских государств, что на самом деле представляло собой ОУНовское движение. За этими людьми, которые по прошествии десятилетий лишились всяческой озлобленности, открывалась объективная правда о тех временах.

Что касается пласта антисоветчиков, то тут было своего рода деление на землячества. Например, по национальному признаку (особенно у малых народов). Скажем, армяне. У них была своя община. Они вместе очень друж-

но держались — чаевничали, общались, всегда была взаимопомощь, что-то делили, читали, выписывали свою прессу и так далее. Это не значит, что они были закрыты, нет. Они дружили с кем угодно, приглашали на свои чаепития. Когда отмечали свои национальные праздники, они устраивали общее застолье, заваривали ведро-два чая, в зависимости от возможностей и масштабов самого события.

Украинцев было много, как и русских. Они дробились на разные направления. Самые многочисленные — националисты, но были и другие. Русские же, в силу своей многочисленности, тоже делились: на марксистов, на православных (были еще русские националисты, но это примерно тоже самое, что православные).

Как правило, с людьми, принадлежащими к одной национальности, происходили одни и те же типические трансформации. Вот, например, украинцы, по каким бы мотивам они ни садились, в конце концов они становились националистами. Я знал марксистскую группу из какого-то киевского института (причем, украинская ГБ давала страшные сорки, это были еще более свирепые органы, чем в России. Они знать не хотели о 70-й статье, сразу давали 64-ю — изменя родине, по которой гармошка сроков начиналась от 8 лет), они тоже постепенно стали националистами.

Евреи попадали в лагерь по самым различным поводам. Например, «самолетные» процессы. Это были люди, которые желали

уехать, причем не всех влекло чувство исторической родины или желание вернуться к вере отцов. Евреи, в основном, становились религиозными националистами, изучали древнееврейский язык, Тору и так далее.

Что касается русских, то основным направлением трансформаций было превращение русских самых разнообразных мировоззренческих и идеологических оттенков в русских националистов православного толка. Это произошло и со мной, с Валентином Кириковым, с Александром Романовым. Но некоторые оставались на своих изначальных позициях, например, Дмитрий Куликов, Виктор Бобров, и другие.

— Расскажите, как происходил арест?

— Примерно месяца за полтора, и даже больше, я стал и чувствовать, и понимать, что я в створе пристального внимания органов, то есть, я заметил слежку. В чем она проявлялась? Во-первых, в следующем. Я жил в квартире жены на улице Станкозаводской, дом 12, квартира 25, и эта квартира была на первом этаже. Рядом находилась детская комната милиции. Однажды, когда я пришел домой, девушка моей жены (а он был активист, общественник) сказал мне, что в детскую комнату кто-то лазил. Я смекнул, что они могли поставить там подслушивающее устройство. К тому времени я работал в прокуратуре, у меня был свой кабинет, дверь в этот кабинет выходила в общую секретарскую комнату, в которой были еще двери к прокурору и помощнику прокурора. В секретарской был телефонный погребок, пучок телефонных связей. Как обычно, однажды я ушел на обед, а потом вернулся, что-то забыл, кажется, ключи в сейфе. Прошло минут семь, как я ушел. Вернувшись, я увидел, как трое копаются в этом телефонном погребке, а при моем появлении один из них не смог скрыть своего смущения. Я понял, что они ставят устройство для прослушивания моего телефона.

Однажды я получил по телефону приглашение от Мартимонова встретиться и обсудить некоторые вопросы. Мы с ним встретились, и эта встреча не пришла мне по душе. Сейчас уже не помню, что именно меня насторожило, но после этого разговора с Мартимоновым моя тревога усилилась. Да еще однажды я услышал из своего кабинета телефонный разговор прокурора нашего отдела (кстати, она сейчас там у вас довольно видное положение занимает, Людмила Анатольевна

ее зовут).

— Фамилию не помните?

— Нет, фамилию забыл. Впрочем, я ничего плохого о ней сказать не могу. Так вот, она была в отпуске, и заменяя ее некий Иван Федорович, помощник прокурора, замечательный человек. И я слышу, как он разговаривает по телефону обо мне. А потом он мне говорит: «Олег, что-то из прокуратуры области интересовались, сколько у тебя дел в производстве». Я уже смекнул, к чему это и спрашиваю его: «А, как вы думаете, чего это они интересуются?» «Ну, не знаю, — говорит он, — может быть, на повышение тебя выдвигают, а может, лекции читать в какой-нибудь колхоз, уборочная ведь идет.»

Я очень хорошо помню день ареста. Это была пятница, 8 августа, теплый, пасмурный день. Моя жена Маргарита вместе с dochенькой Аленкой, которой тогда был год и 4 месяца, гостила у моего отца, который работал управляющим в Шиловском районе. Деревенька находилась недалеко от Куйбышевской трассы. Я уже несколько раз до этого, имея в портфеле милицейский жезл, который мне любезно отдали ребята из отдела ГАИ нашего РОВД, выезжал на Куйбышевскую трассу, останавливал машину и ехал. И в этот раз с такими же намерениями, имея в портфеле этот жезл, гостицы для Аленки и рукопись антисоветской работы, над которой я намеревался потрудиться, пришел утром в прокуратуру. Там был только помощник прокурора Иван Федорович, и больше никого. Вдруг слышу звонок к нему по телефону, и он говорит: «Хорошо, хорошо, мы с ним сейчас поднимемся к вам». Заходит ко мне и говорит: «Олег Михайлович, прокурор области, начальник отдела кадров Огородников и зампрокурора нас вместе с тобой вызывают». Поднялись, они нас ждут. «Так и так, Олег Михайлович, к нам пришел приказ о сокращении штатов. Поскольку вы у нас работаете совсем недавно, то мы решили сократить именно вас». Я это все выслушал, и как-то сразу меня взорвало. Говорю: «Я понимал, что за всем этим скрывается другая подлелка». «Что вы имеете в виду?» Я сказал, что во время учебы в институте имел неприятную историю с одной антисоветской рукописью, к которой не имею никакого отношения, однако, этот хвост до сих пор тянется за мной, и в этом увольнении я вижу ни что иное, как акцию КГБ. Они картинно пожали плечами:

мы-де ничего не знаем, если же лаете, то выясняйте у них. «Я именно это и намереваюсь сделать сию же минуту». И еще была сказана знаменательная фраза. После того, как зампрокурора сообщил о намерении меня сократить, он добавил: «В ближайшее время мы позаботимся о вашем трудоустройстве». Они действительно позаботились, я был основательно трудоустроен.

Я был расстроен, совершенно убит, и в этот момент пронесся целый вихрь мыслей в моей смятенной голове. Первое, что я подумал: надо сжечь рукопись. Где же это сделать? Если я в кабинете начну палить, будет дымище. И я сунул рукопись обратно в паптфель, а его, не найдя ничего лучшего, запер в сейф, и вышел из прокуратуры. Оказалось, только я вышел, прошел по Либнинката, потом по правой стороне Ленина к центру, они тут же и подъехали. Для чего нужно было меня уволить? Чтобы я нигде не фигурировал как работник прокуратуры. И действительно, в протоколах они стали лепить: «до ареста не работал». Я говорю: «Ребята, вы это дело бросьте. Вы будете писать так, как оно было. Я работал следователем прокуратуры.» И действительно, по всем показаниям, и в приговоре, и в обвинительном заключении я прошел как следователь прокуратуры.

Дошел я до угла улицы Свободы, до аптеки... Такое милое для меня место, связанное с моими влюбленными прогулками... Я остановился в каком-то замешательстве, потом тронулся вниз по улице Ленина, подошел к банку. Подходит мужчина безликой наружности в болонии, с галстуком: «Вы Олег Михайлович Сенин?» «Да, он самый.» «Пойдемте со мной.» Когда я зашел в КГБ, мне сказали: «Посидите.» Я посидел в каком-то полуподвальном помещении с зарешеченными окнами. Потом пригласили в кабинет, там сидели три человека, кто именно — не помню, кажется, один из них был Сконников, начальник следственного отдела. Он из всех рязанских Гбшников был самый неприятный человек, самая одиозная фигура.

«Олег Михайлович, вы знаете, по какому делу мы собираемся с вами поговорить?» «Нет, не знаю.» «Вы знакомы с такими-то?» «Нет, не знаком.» «Да вы бросьте...» Тут я взрываюсь: «Это вы бросьте свои сталинские замашки! Я никого не знаю, и вас бы знать не хотел.» «Ну хорошо, дело ваше. Но если вы сейчас начнете говорить, то мы можем вас выпустить под подпи-

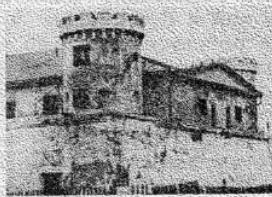
ску о невыезде, а если нет, то мы будем вынуждены вас задержать.» «Я ни в чем не виновен, никого не знаю.» Они меня оставили. Я сидел в кабинете, меня пас какой-то молодой. Он очень мило со мной разговаривал, даже о романах, о литературе. Ничего провокационного не было в его вопросах, просто он меня караулил и развлекал. Принесли из буфета чай и бутерброда, я немножко перекусил. Прошло часа полтора, меня вызывают в кабине Маркелова, сидит Маркелов, еще человек семь-восемь... Те же самые разговоры: «Мы знаем, что вы были связаны с Будкой.» «Знать ничего не знаю.» «Вот ваше дело, вы прекрасно понимаете, что из этого может выйти. Подумайте о своей жене.» «Вы же работник наших органов», и прочие разные уверования. Помню одну фразу: «Ясно, что этот — из руководства. Фанатик.» Маркелов говорит: «Вот передо мной протокол о вашем задержании. Либо вы начинаете говорить, либо я его подписываю.» После этого меня отправляют к следователю. Молодой, лет 32-х следователь меня встречает: «О, надо же, такой русский парень, светловолосый, голубоглазый! Олег, да что же у тебя с этими евреями общего?! Да они же враги!» Я ему с металлом в голосе: «Во-первых, не «ты», а «вы», во-вторых...», и выдал что-то насчет антисемитизма. Он осекся: «Ну извините, я ведь не навязываюсь...»

Был составлен первый протокол все в том же духе: не знаю, не участвовал, не занимался. Ну, и все, подписал протокол, выслушал последние уверования... Выводят меня через парадный подъезд, тут стоит «Волга», ходят люди... Сажают меня на заднее сидение, по бокам два молодца, мы поехали. Они меня не арестовали, а задержали по 122-й статье на трое суток. И сделано это было с единственной целью — промять мне косточки на твердых нарах. Условия содержания в КПЗ — не то, что условия содержания в тюрьме.

Приезжаем мы в КПЗ, что на площади Мичурина, во дворе УВД. А я там бывал раньше, мне приходилось привозить туда задержанных, дежурный меня знал. Заходим туда, трое чекистов и я. Они показывают свои книжки управления госбезопасности, дежурный удивлен. Мы, говорят, привезли задержанного. А я уже знаю, что надо делать в таких случаях: надо вывернуть карманы и выложить их содержимое на стол. Я вытаскиваю свою красную книжку, где написано «Прокуратура Союза ССР» и тоже

ВЕСТИ ИЗ СССР USSR NEWS BRIEF
ИЗДАНИЕ ЧИФИР

СПИСОК ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ СССР



ВЫПУСК 9
ПО СОСТОЯНИЮ НА
30.10.1987

Следственный изолятор г. Рязани.
«Список политзаключенных СССР».
Мюнхенское издание.

АРХИВ «КАРТЫ»

выкладывая ее на стол. У дежурного отвисает челюсть, он спрашивает: «А где же задержанный?» «А вот он», — говорят. Отвели меня в камеру. Что такое камера КПЗ? Входишь, и тут же сразу помост деревянный, повыше колена сантиметров на пятнадцать — это то, на чем надо спать. У дверей небольшое пространство в полтора метра, где можно как бы прогуливаться. Закрыли за мной дверь... Я помню, первое, что я испытал: плащающая, сжимающая сердце боль, мука, сознание того, что нечто оборвалось, случилось непоправимое.

Я пытался облегчить эту муку тем, что вспоминал о дочери, о жене, и еще тем, что пытался заснуть. Только заснул — лязг дверей, стук — ко мне мощным пинком забрасывают какого-то пацана, буквально — шкета. Это оказался мой сокамерник, потом еще один... Представьте: с вечера пятницы, всю субботу, ночь на воскресенье, воскресенье и ночь на понедельник я провел вот так, в таком обвале, в такой муке! Был уже август, ночью холода. Хорошо, на мне был плащ. Мы с этим пацаном спали, прижавшись друг к другу.

В понедельник утром за мной приехали и через УВД проводили меня к выходу, все сбежались смотреть. Прошел слух: в прокуратуре арестовали шпиона. Я гордо мимо них прошел... Привезли меня в изолятор — там меня тоже многие знали. Привезли и закрыли в бокс — такое узкое помещение без окна,

только дверь — такой каменный мешок — горит лампочка, все зашлепано штукатуркой и стоит бетонный стульчик. Вот тут я почувствовал психический стресс. Я подумал: вот тут мне и сидеть. Я чувствовал сдавленность, удушье... Я забаранили в дверь: долго вы меня собираетесь тут держать?! Дверь открылась: еще немного побудьте здесь. Действительно, через некоторое время меня повели в парикмахерскую. Эзк, который меня стриг, сказал: «Тут уже двое твоих сидят.» Я спрашиваю: «Какие?» Он говорит: «Один блондин», — я понял — Фролов. «Другой такой черный», я думаю — ну, Вудка. После стрижки меня повели в баню, а потом подняли на второй этаж, в ту башню, что ближе к мосту. Огромной толщины стены, круглая комната, сваренные кровати. Там сидели вместе со мной очень интересные личности. Первый — старик с бледным, зловещим лицом. Рецидивист, волк. В этот момент он сидел за убийство. Я думаю, его использовали как «насадку». Второй — дебильного вида парень, амбал лет восемнадцати, с дегенеративным лицом. Он тоже сидел за убийство. Это соседство тоже было психологическим пресингом.

— А разве не было тогда положения о том, что работники органов содержатся в отдельных камерах?

— Вообще, такое положение было. Для работников органов были спецлагеря. Что касается отдельных камер — я не знаю. Вообще, отношение к нам в лагере было сочувственным. О нас там ходили легенды, что мы вооружены, да мы с автоматами этих красных!.. Но бывало и другое. Подсадки, через которых они старались создавать тяжелую психологическую атмосферу.

В этой тюрьме я слышал голос Вудки. С момента ареста — первый и последний раз. Вдруг вечером слышу голос Валеры: «Юст, Юст!» Тогда еще не было у него имени Арье, они еще не дошли до таких глубин иврита. Так вот, Валера кричит: «Юст, Юст, Мартимонов провокатор!» Я тогда рванулся и крикнул: «Вэл, Вэл, я здесь!»

А с Грилюсом мы встретились интересным образом. Меня перевели в другую камеру, тоже подсадили убийцу, такой был шустрый малый, дока! Среди эзков есть интересные люди. Этот занимался историческими романами, много знал, рассуждал. Но явно, что он был наследкой, потому что, когда мы возвращались с прогулки, он приносил с собой

пачку чая, тут же колол какие-то щепки и варил себе чифир. Ну, ясно, что без санкции ментов он бы этот чай не получил. Вдруг где-то в сентябре (я уже ждал этапа, на допросы меня уже не вызывали) в камере стали чинить радио. Техник полез кrepidектору, дверь была открыта и я смотрю — выходит к умывальнику, что был прямо напротив моей камеры, Шимон. «Привет, Олег.» «Привет.» Не помню, о чем мы переговорились. А потом мы стали делать так. Его камера была в башне, и он проходил мимо моей, а у меня глазок был без стекла. Шимон, проходя, швырял в этот глазок записки, и раза два эти записки ко мне попадали. Более того, среди обслуги оказался парень из моей деревни, Володя Еремишин. Как-то раз я не пошел на прогулку, он открыл кормушку: «Олег, узнаешь?» Я: «Володя!» Он говорит: «Тот, который с тобой в камере — наследка.» Я говорю: «Володя, ты можешь передавать записи?» «Давай», — говорит. И когда мы выходили на прогулку, он открывал камеру и мне в карман клал записку. Раза два или три так было.

Потом меня отправили этапом в Саратов, я очень долго шел туда этим этапом. 1-го октября меня привезли в Саратов.

— Вы помните следователей, которые вели дело?

— Некоторых помню. Моим следователем был некто Константинов. Уже тогда ему было под 60 лет, он собирался уходить на пенсию. Это был довольно деликатный, даже мягкий человек. Они мне дали именно такого, потому что я иногда круто себя вел, а он мог найти ко мне подход, у нас с ним были довольно безконфликтные отношения. Время от времени меня допрашивали следователи то Фролова, то Вудки. Я помню, Чекин, такой хмуроватый, с уральским акцентом (видимо, он был из Пермского управления) — это был следователь Вудки. Следователя Олега я не помню, много времени прошло.

— А как образовалось саратовское дело?

— Потом мое дело выделили в отдельное производство и отправили в Саратов, а на рязанском процессе мои показания только зачитывались.

Что касается моих показаний. Почему я получил самый большой срок? Фактически, я начал заниматься всей этой революцией в 65-м году, в 66-м я приехал в Саратов и занимался там до осени 68-го года. Но, фактически, я выключился из практической работы в 67 году, и зани-

мался теоретической работой, поддерживая кое-какие связи. Почему они мне влупили такой большой сорт? Во-первых, сыграли роль личностные качества. Они меня считали фанатом и человеком больших потенциальных возможностей. Они совершенно не верили в мое раскаяние (мы все там раскаялись). Во-вторых, за мое поведение на следствии. Следствие – процесс психологически очень тяжелый, и я не могу сказать, что вел себя там геройски, но когда нас везли этапом, мы в Сызрани вместе сидели в камере с Куликовым. Дима Куликов сказал: «Олег, мы все отдаем тебе должное, на следствии ты держался лучше всех.» Действительно, я сознавал свое лидерство, сознавал, что я всех наставлял, и это как-то меня обяжало. Большинство показаний я давал только после того, как мне зачитывали показания одного или двух свидетелей или участников дела. Сам я инициативы на следствии никогда не появлялся, я только соглашался с фактами, когда как юрист понимал, что факты эти достоверны. Иногда меня очными ставками уламывали в чем-то сознаться.

Самым тяжелым ударом с конца следствия был эпизод с террактом. Намерение свешения терракта.

— ???!

— В 68-м году произошли известные события на Даманском. Тогда мы, слушая западные радиостанции, узнали, что Советский Союз может использовать эти события для нанесения preventivного ядерного удара по Китаю. Западные станции утверждали, что именно Советский Союз и спровоцировал эти события, ибо они ему сейчас политически выгодны. И мы, мальчишки, решили, что это может быть истиной, и за этим действительно может последовать ядерный удар, тем более, что Китай тогда имел ракеты лишь среднего радиуса действия. И мы, желая предотвратить массовую гибель ни в чем неповинных людей, решили направить из разных городов страны письма протеста и предупреждения, представив себя, как организацию, которая, в противном случае, прибегнет к тактике индивидуального террора. Это обсуждалось в Рязани, и вся рязанская группа была сторонницей такого решения. Более того, мы обсуждали возможности осуществления терракта. Договорились до того, что на первомайской демонстрации кто-то останется в Соборе Василия Блаженного, спрятается. Нужно достать винтовку с оптическим прицелом. Другой вариант – во время демонстрации наход-

диться рядом с транспортом, потом вскочить на эту платформу... Надо выбрать место, чтобы пристреляться... Мальчишество, конечно, однако, разговоры такие велись. На Даманском все затихло, необходимость в терракте отпала.

— Вы были готовы стрелять в людей?

— Теоретически – да, а практически – я не знаю, как бы это все получилось. Мы были противниками террора. Мы были марксистами, а у марксистов индивидуальный террор не является средством политической борьбы. Мы были противниками, но учитывая ситуацию, решили сначала сделать предупреждение, и если бы оно не возымело действия, и продолжалось бы психологическое нагнетание, подготовка к наступлению ядерного удара, влекущего массовую гибель людей, то мы были готовы пойти на терракт. По крайней мере, мы тогда так полагали. Хотя, я не представляю, как бы лично я в кого-то стрелял.

— Кто же ляпнул на следствии об этом?

— Уже заканчивалось следствие, был конец ноября, в Саратове. Вдруг меня выдергивают из камеры, привозят в управление (хотя, последний месяц допрашивали в тюрьме). Я вхожу, смотрю, мой следователь Проданов в кителе, такой из себя весь строгий, чем-то взволнованный, со мной разговаривает совсем иначе. Потом заходят два его помощника, тоже в кителях. Он звонит, докладывает: обвиняемый Сенин доставлен. Входит генерал Васькин, начальник управления. Те – под козырек, Проданов рапортует: товарищ генерал, разрешите приступить к допросу обвиняемого Сенина по делу такому-то. Генерал разрешает, и следователь, стоя, с дрожью в голосе зачитывает мне показания Виктора Боброва об этом самом намерении. (Я обсуждал с саратовской группой решение рязанской группы об этом терракте, но саратовская группа отнеслась к этому отрицательно.) У меня отвисла челюсть. Я как юрист понимал, что это такое. Если бы они вменили нам намерения совершения терракта, гармошка сроков начиналась бы с восьми лет. Мандраж был подлинный. Надо же было Боброву расколоться! А у него, оказывается, при аресте нашли какой-то оптический прицел, какую-то трубу. Не знаю уж как это вышло, но он взял и сказал про терракт.

Слава Богу, пронесло, однако этот эпизод был в обвинительном заключении, как одно из

отягчающих обстоятельств.

После лагеря, по возвращению к своей жене Маргарите, мне было отказано в прописке. Я имел условный срок. Пришлось идти в КГБ и по звонку оттуда мне прописку дали. Затем я поехал поступать в семинарию и договаривался о возможном служении в Архангельской епархии с владыкой Сидором Архангельским и Холмогорским (тоже делая это конспиративно). Я убрал из своих документов срок, сделал это с благословения отца Евгения Бабинцева (сам бы я не дерзнул, все-таки, в Богоугодное заведение поступаю, и вдруг пуститься на такую ложь!) Но это не помогло, в семинарию я не поступил. В этом я чувствовал руку КГБ, потому что и возраст мой, и облик явно свидетельствовали о серьезности моих намерений, но мне не предложили даже, как предлагали многим, поехать куданбудь в епархию послужить.

Затем я служу у Владыки, он обещает мне скорое рукоположение, подает на меня бумаги для моего служения в качестве епархиального протодьякона и секретаря епархиального управления. Проходит время, рукоположения нет. Является КГБшник, находит меня на свечном складе и опять канитель с вербовкой и мой отрицательный ответ.

В восьмидесятом году мы с Катериной (с первой женой я расстался) приезжаем в Тулу, у нас маленький сын Никон, и Катерина брюхата Настенькой, ни кола, ни двора. Здесь я начал преподавать на подпольных библейских курсах. Тут тоже было много треволнений, эти курсы пытались прикрыть... В 82-м году я принимаю крещение, становлюсь членом Адвентистской церкви, потом долгое время я работал под прикрытием редактора издательства, потом работал разъездным миссионером. Власти официально к служению в церкви меня не допускали, контролировали они всех, в том числе и адвентистскую церковное руководство. И только после перестройки я был рукоположен дьяконом, потом – пресвитером Тульской общины, и, наконец, в 91-м году я был рукоположен епископом, или, как в адвентистской церкви называют, проповедником, уже будучи преподавателем семинарии. Вот так, ребята, и сложилась жизнь...

А людей, лучше чем тогда в Рязани, Саратове, в бараках 17-го лагеря я, наверное, потом и не встречал. И те годы, как не парадоксально сейчас звучит, я считаю лучшими в своей жизни.